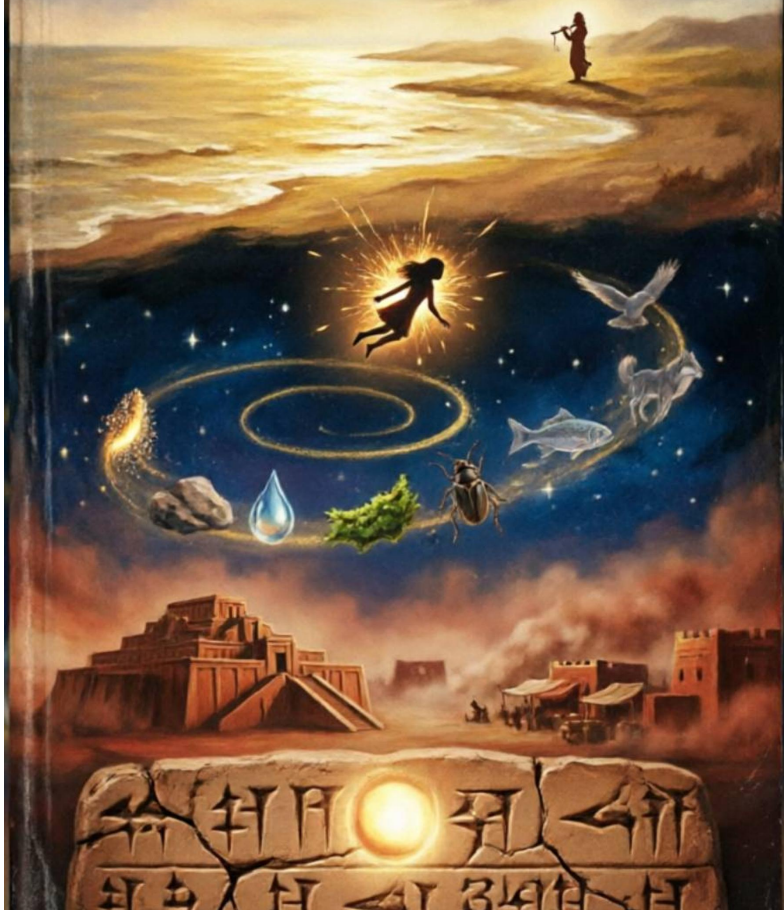


# Я ПРОСТО ПОСМОТРЮ

роман о душе, которая кружит вокруг центра вселенной



# Александр Кузнецов

## Я просто посмотрю

*<https://litres.ru/74643619>*

*SelfPub; 2026*

### Аннотация

«Я просто посмотрю и вернусь»

Однажды вечная душа Мадхура решила, что ей тесно в лучах чужого солнца. «Почему всё вращается вокруг Тебя, Кришна? Пусть всё вращается вокруг меня!» — и шагнула за край рая. С твёрдым намерением: просто посмотреть и вернуться.

Не вернулась.

Теперь она — песчинка, камень, жук, рыба, волк. А потом — девочка в глиняном Вавилоне, которая кричит «дай!» раньше, чем научится говорить. Которая обвешивает покупателей на щепотку. Которую продают за четырнадцать мер ячменя. Которая ставит глиняные фигурки в ряд и называет это центром вселенной. Которая теряет отца, мужа, детей — и каждый раз думает: мир обязан вращаться вокруг моей боли.

А где-то на берегу, откуда она ушла, Кришна играет на флейте одну ноту. Тихо. Так тихо, что услышит только тот, кто уже почти забыл, как слушать.

Духовный роман с иронией и нежностью. О том, как мы все пытаемся быть центром вселенной — и что происходит, когда наконец перестаёшь.

# Содержание

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Введение                           | 4  |
| Глава 1. Виза в один конец         | 8  |
| Глава 2. Мясной скафандр           | 30 |
| Глава 3. Первый вдох и первый долг | 39 |
| Глава 4. Имя как первая клетка     | 49 |
| Глава 5. Молоко, пелёнки и карма   | 58 |
| Конец ознакомительного фрагмента.  | 73 |

# Александр Кузнецов

## Я просто посмотрю

### Введение

*Голока Вриндавана была не просто «безупречной экосистемой». Это было пространство чистой, незамутненной любви, где само понятие «я» раскрывалось только через «Ты». Здесь не было гравитации в привычном смысле, потому что Кришна — Сам Всепривлекающий — притягивал к Себе каждое сердце не силой, а сладостью Своей игры. И всё это бесконечное многообразие — от поющих павлинов до рек, состоящих из нектара, — имело один, строго задокументированный в законах бытия Центр.*

*Мадхура, крошечная, но неотъемлемая частица этого океана блаженства, сидела на ветви дерева желаний и чувствовала странный сбой в своей духовной матрице. В духовном мире нет скуки, но есть свобода воли — крошечный атом выбора (ану). И вдруг этот атом решил, что ему тесно в лучах чужого солнца. Вирус ложного эго (аханкары) впервые подал голос: а что, если перестать быть счастливым благодаря Ему, и стать источником счастья самой?*

*Кришна появился рядом не потому, что подошел, а потому что само пространство вежливо свернулось, чтобы Ему*

было удобнее. Он посмотрел на нее, и в Его глазах читалось то самое тихое знание, которое обычно бесит всех начинающих инноваторов.

— Почему ты грустишь? — спросил Он мягко.

Мадхура фыркнула, стряхивая с лепестков остатки духовной идиллии. Ей вдруг показалось, что её счастье слишком зависимо от чужого сценария. — Я не понимаю, почему все вращается вокруг тебя, Кришина?

— А как ты хочешь? — спросил Он. В этом вопросе не было ни обиды, ни иронии. Только безграничное уважение к свободе дживы.

— Я подумала: а почему бы всему не вращаться вокруг меня? — выпалила она с пафосом человека, который только что изобрел колесо, искренне полагая, что до него люди просто боялись катиться.

Повисла пауза. Даже вечность на мгновение замерла, оценивая масштаб этой космической реорганизации. Абсурдность ситуации заключалась в том, что она требовала автономии у Того, кто и был самым фактом её существования. Она захотела стать Ишварой — Верховным Центром — в мире, где Ишвара только один.

— Могу ли я пойти туда? — она указала пальцем в сторону мерцающей границы, за которой начиналась Девидхма — материальная вселенная, сотканная из трех гун, времени и кармы. Она выглядела как карантинная зона, пахнущая пылью, налогами, чужим мнением и неизбежной болью.

— **Ты свободна поступать так, как пожелаешь!** — развел Он руками. Он выдал ей самый тяжёлый и разрушительный подарок во Вселенной — право отвергнуть любовь.

— **Но ты можешь забыть Меня...** — добавил Он. Фраза прозвучала не как угроза, а как сухая констатация закона: Майя означает лишь одно — забыть свои истинные отношения с Богом.

— **Как я могу забыть тебя? Я люблю тебя навечно,** — рассмеялась она, абсолютно уверенная в своей духовной суперпамяти. Её истинная природа была вечной (сам-чит-ананда), и ей казалось, что эта память вишита в самую её суть. — Я просто посмотрю, что там, и вернусь....

Она шагнула в туман. И в ту же секунду вечность (ни-тья) сменилась безжалостным временем (калой), а духовная форма — грубым и тонким материальными телами.

Она даже не заметила, как её изначальная природа служения (сварупа) сжалась в крошечный, болезненный комочек ложного самолюбия. Теперь ей предстояло миллионы жизней пытаться выдавить из этого комка «счастье», вращая вокруг себя планеты, людей, события и даже собственные мысли, не понимая, что она — лишь искра, оторвавшаяся от костра.

Кришна остался стоять на берегу Голоки. Ему не было грустно в человеческом, мирском понимании, потому что Он — Сверхдуша (Параматма) — уже шагнул вслед за ней, чтобы терпеливо ждать в её сердце, пока она не устанет

*от своих иллюзий.*

*Но сейчас, наблюдая, как крошечная точка её света падает в бездну Майи, облачаясь в тяжёлые доспехи кармы, Он позволил Себе тихую, непостижимую печаль.*

*«Я просто посмотрю», — эхом отозвалось её наивное обещание, тонущее в шуме миллиардов галактик.*

*А Кришна знал самую горькую иронию материального мира: этот «просто посмотреть» длится ровно столько, сколько душе требуется, чтобы в конец забыть свою истинную форму, свой вечный вкус (расу) и начать с остервенением доказывать всем вокруг, что эта пыльная, полная страданий карусель — её единственный дом.*

# Глава 1. Виза в один конец

Первое, что почувствовала Мадхура, была гравитация.

Не та изящная метафора, которой в Голоке Вриндаване объясняли взаимное притяжение сердец, а настоящая, тупая, беспощадная гравитация — та самая, что в материальном мире заменяет любовь. Она навалилась на неё сверху, снизу, со всех сторон, как будто вся Вселенная вдруг решила обнять её, но не из нежности, а чтобы проверить, не сломается ли.

Мадхура не сломалась. Она была дживой — вечной, неделимой, неуничтожимой частицей Сверхдуши. Но в данный момент это знание было примерно так же полезно, как диплом по астрофизике в падающем лифте.

*Я просто посмотрю,* — напомнила она себе. Фраза звучала уже не так уверенно, как там, на берегу Голоки. Там она казалась дерзкой и весёлой. Здесь — глупой и окончательной.

Вокруг не было ничего. И одновременно было всё.

Это «всё» называлось тонким телом — линга-шарирой, — и оно состояло из ума, разума и ложного эго. Три компонента, три стены, три замка. Мадхура обнаружила, что упакована в них, как подарок в оберточную бумагу, только подарок не подозревал, что его уже подарили кому-то другому.

Где верх? Где низ?

Верх и низ существовали. Это было первое и самое унизирующее открытие. В Голоке Вриндаване не было направлений, потому что не было нужды куда-то двигаться — всё уже было здесь, всё уже было совершенно. Здесь же пространство раскололось на оси, координаты и векторы, и Мадхура почувствовала себя точкой на графике, которую кто-то забыл стереть.

Вторым открытием стало время.

Оно не пришло — оно началось. Как будто кто-то нажал кнопку на секундомере, и теперь каждую секунду, каждую долю секунды, каждый неуловимый миг что-то безвозвратно уходило. В Голоке время было кольцом, танцем, лилой — игрой без начала и конца. Здесь оно было прямой линией, направленной в одну сторону, и на конце этой линии, где-то в туманной дали, маячило слово, которое Мадхура пока не могла вспомнить, но уже боялась.

Смерть.

Нет, не так. Она не вспомнила это слово. Она вспомнила отсутствие того, что было раньше. Отсутствие вечности. Как человек, который всю жизнь жил у океана, а потом оказался в пустыне и не может понять, чего именно ему не хватает. Не воды. Не соли на губах. Не крика чаек. А самого факта, что океан есть. Что он никуда не делся. Что он всегда рядом. Здесь океана не было.

И Мадхура не могла вспомнить его название.

Третье открытие было самым болезненным.

Отдельность.

В Голоке Вриндаване она была частью. Не частью в смысле «винтик в механизме», а частью в смысле «нота в мелодии». Нота не существует без мелодии, мелодия немыслима без ноты. Они не вращаются друг вокруг друга — они звучат вместе.

Здесь, в Деви-дхаме, Мадхура впервые в своей вечной истории почувствовала себя отдельной. Не частью, а точкой. Не нотой, а звуком, вырванным из симфонии и брошенным в пустоту.

Это было похоже на то, как если бы кто-то вырезал её из ткани бытия ножницами и положил на стол. И теперь она лежала, эта маленькая, круглая, бесконечно одинокая заплатка, и пыталась вспомнить, узором какой скатерти она была.

*Я центр вселенной*, — подумала она. Мысль пришла автоматически, как защитная реакция. Эго — аханкара — уже работало. Оно было новым, блестящим, только что распакованным, и тут же принялось за свою единственную функцию: создавать иллюзию, что всё в порядке.

*Я центр вселенной. Я хотела этого. Я получила это. Всё идёт по плану.*

Но план не работал. Потому что для того, чтобы быть центром вселенной, нужна вселенная. А вокруг была только тьма, давление и нарастающий, глухой гул, похожий на звук гигантской стиральной машины, в которую забыли положить

бельё.

Гул нарастал. Мадхура почувствовала, что её куда-то тянет. Не гравитация — что-то другое. Что-то, что было похоже на всасывание. На втягивание. Как будто сама материя, эта гигантская, слепая, голодная утроба Деви-дхамы, учуяла новую душу и теперь нетерпеливо подтягивала её к себе, облизываясь.

И Мадхура начала падать.

Не вниз. Не вверх. Не в сторону. А *внутри*. Внутри материи. Внутри формы. Внутри того, что было ниже сознания, ниже мысли, ниже даже ощущения. Внутри того, что в Голоке Вриндаване называли *адхармой* — самым нижним, самым плотным, самым глухим слоем бытия, где свет не доходит, где звук не звучит, где время не течёт, а просто *лежит*, как лежит глина на дне реки, не зная, что она глина, не зная, что есть река, не зная, что есть дно.

И Мадхура упала на самое дно.

*Первым телом была песчинка.*

Не метафорическая. Не поэтическая. Не «как песчинка в океане». Настоящая. Песчинка. Кварцевая. Полмиллиметра в диаметре. С одним сколотым краем и микроскопической трещиной, в которой застряла молекула воды.

Мадхура не знала, что она песчинка. У песчинки нет «знать». У песчинки нет «я». У песчинки нет ничего, кроме веса, формы и положения в пространстве. Но где-то внутри — так глубоко, что даже слово «внутри» было слишком

большим для этого размера, — где-то внутри, в той точке, которая была меньше атома, которая была меньше мысли, которая была меньше самого понятия «меньше», — в этой точке горела искра.

Искра не знала, что она искра. Искра не знала, что она Мадхура. Искра не знала, что когда-то была центром вселенной и требовала, чтобы всё вращалось вокруг неё. Искра просто *была*. Лежала. Ждала. Не ждала. Просто была.

Ветер дул. Песчинка катилась. Ветер стихал. Песчинка лежала. Дождь падал. Песчинка мокла. Солнце выходило. Песчинка сохла. Ничего не менялось. Ничего не происходило. Ничего не *было*, кроме этого бесконечного, ровного, бессмысленного *есть*.

И это было первое дно.

Не боль. Не тьма. Не холод. А *отсутствие*. Отсутствие всего, что было. Отсутствие воли. Отсутствие движения. Отсутствие выбора. Отсутствие «я хочу». Отсутствие «дай». Отсутствие «хаб». Отсутствие центра.

Песчинка не была центром. Песчинка не была ничем. Песчинка была *материалом*. Тем, из чего строят. Тем, что кладут. Тем, что топчут. Тем, что не спрашивают.

Мадхура была песчинкой.

И не знала этого.

И это было милосердие.

*Потом — камень.*

Не сразу. Не через день. Не через год. Через *эпоху*. Через

столько времени, что само слово «время» потеряло смысл, потому что для песчинки времени нет. Есть только *сейчас*. Бесконечное, плоское, неподвижное *сейчас*, в котором ничего не начинается и ничего не кончается.

А потом песчинку сжали. Давление. Жар. Тысячи лет давления и жара. И песчинка стала частью камня. Не отдельной песчинкой. Частью. Молекулой в решётке. Атомом в структуре. Ничем сама по себе и всем в совокупности.

Камень лежал на дне реки.

Камень не знал, что он камень. Камень не чувствовал воды, которая текла над ним. Камень не слышал гула течения. Камень не видел света, который пробивался сквозь толщу воды и ложился на его поверхность тёплым, дрожащим пятном.

Но камень *чувствовал вес*.

Это было второе открытие. После отсутствия — вес. Не свой. Чужой. Вода давила. Ил давил. Другие камни давили. Время давило. Всё давило. И камень лежал, и держал, и не мог не держать, потому что у камня нет выбора. У камня нет «я не хочу». У камня нет «я устала». У камня есть только *быть и держать*.

Мадхура была камнем.

И держала.

И не знала, что держит.

И это было второе дно.

*Потом — вода.*

Камень разрушился. Не взорвался. Не раскололся. *Разрушился*. По песчинке. По трещине. По капле. Тысячи лет вода точила, и камень стал песком, и песок стал илом, и ил растворился, и то, что было Мадхурой, стало частью потока.

Вода не лежала. Вода *шла*.

Это было третье открытие. После отсутствия и веса — *движение*. Не своё. Не по воле. Не по выбору. А по уклону. По градиенту. По тому, куда тянет гравитация. Вода не решала, куда течь. Вода текла. Потому что не могла не течь. Потому что течь — это единственное, что вода умеет.

Мадхура была водой.

И текла.

И не знала, куда.

И не спрашивала.

И это было третье дно. Но уже не такое глухое. Потому что в воде было *направление*. Не воля. Не выбор. Но направление. И в этом направлении, в этом течении, в этом бесконечном *вперёд*, которое не спрашивает разрешения, — Мадхура впервые почувствовала что-то, что было похоже на *жизнь*.

Не жизнь. Не сознание. Не мысль. А *импульс*. Слепой. Механический. Бессмысленный. Но *импульс*. Движение, которое не является полным отсутствием движения. Течение, которое не является полным отсутствием течения.

И где-то внутри, в той точке, которая была меньше атома, искра дрогнула. Не проснулась. Не вспомнила. Просто дрогнула. Как дрожит струна, когда кто-то проходит мимо и воз-

дух касается её.

*Потом — мох.*

Вода остановилась. Застоялась. Стала болотом. И в болоте, на камне, на том самом камне, который когда-то был песчинкой, который когда-то был Мадхурой, — вырос мох.

Мох был зелёным. Мох был живым. Мох *рос*.

Это было четвёртое открытие. После отсутствия, веса и движения — *рост*. Не перемещение. Не течение. А *увеличение*. Мох становился больше. Мох тянулся к свету. Мох пил воду. Мох дышал. Мох *хотел*. Не сознательно. Не с мыслью. Не с «дай». А клеточно. Молекулярно. Тем слепым, механическим, неотвратимым *хочу*, которое есть у каждого живого существа и которое не спрашивает разрешения.

Мадхура была мхом.

И росла.

И тянулась к свету.

И не знала, что такое свет.

И не знала, что тянется.

И не знала, что *хочет*.

Но *хотела*.

И это было четвёртое дно. И оно было тёплым. Потому что в нём было *желание*. Маленькое. Слепое. Бессловесное. Но *желание*. И в этом желании, в этом слепом, клеточном, молекулярном *хочу*, — искра дрогнула снова. Не проснулась. Не вспомнила. Просто дрогнула. И в этом дрожании было что-то, что было похоже на *узнавание*.

Не узнавание. Не память. А *след*. Как след ноги на песке, который давно уже смыло, но песок помнит форму. Как эхо звука, который давно отзвучал, но стена ещё вибрирует.

Мадхура хотела света.

И не знала, что это *Он*.

*Потом — насекомое.*

Мох умер. Мох сгнил. Мох стал землёй. И в земле, в темноте, в тепле, в гниении, — что-то зашевелилось. Что-то маленькое. Что-то с шестью ногами и двумя усиками и глазами, которые видели не свет, а *разницу* между светом и тьмой.

Жук.

Маленький. Чёрный. С панцирем, который пах землёй и гнилью. С лапками, которые цеплялись за корни. С челюстями, которые жевали мёртвое. С усиками, которые ловили запахи.

Жук *чувствовал*.

Это было пятое открытие. После отсутствия, веса, движения, роста и желания — *ощущение*. Жук чувствовал тепло. Жук чувствовал холод. Жук чувствовал голод. Жук чувствовал страх. Жук чувствовал *боль*.

Боль.

Первая боль. Настоящая. Не метафорическая. Не «больно, как будто». А настоящая. Когда лапку придавило камнем. Когда крыло надорвалось. Когда другой жук, больше, с более крепкими челюстями, откусил усик.

Мадхура была жуком.

И чувствовала боль.

И убегала.

И пряталась.

И боялась.

И это было пятое дно. И оно было страшным. Потому что в нём было *страдание*. Не тупое. Не бессмысленное. А *живое*. Острое. Настоящее. То страдание, которое заставляет бежать. Которое заставляет прятаться. Которое заставляет *хотеть, чтобы не болело*.

И в этом *хочу, чтобы не болело*, в этом слепом, животном, шестиногом *не хочу*, — искра дрогнула в третий раз. И в этом дрожании было что-то, что было похоже на *вопрос*.

Не вопрос. Не мысль. Не слово. А *направление*. Внутрь. В ту сторону, где не болит. В ту сторону, где тепло. В ту сторону, где *не один*.

Мадхура не знала, куда смотрит.

Но смотрела.

*Потом — рыба.*

Жук умер. Жук стал землёй. Земля стала дном. И в воде, над дном, в толще, в холоде, в течении, — что-то блеснуло чешуёй.

Рыба.

Маленькая. Серебристая. С плавниками, которые дрожали, как дрожат пальцы, когда холодно. С жабрами, которые хватали воду и выжимали из неё воздух. С глазами, которые видели не форму, а *движение*. С боковой линией, которая

чувствовала вибрацию.

Рыба *плыла*.

Не текла, как вода. Не росла, как мох. Не ползала, как жук. А *плыла*. Своей волей. Своим хвостом. Своим выбором. Влево. Вправо. Вверх. Вниз. Не по течению. Не по уклону. А *сама*.

Это было шестое открытие. После отсутствия, веса, движения, роста, желания, ощущения и боли — *воля*. Маленькая. Рыбья. Ограниченная. Но *воля*. Рыба решала, куда плыть. Рыба решала, когда есть. Рыба решала, когда прятаться. Рыба решала, когда бежать.

Мадхура была рыбой.

И *плыла*.

И *решала*.

И *выбирала*.

И это было шестое дно. И оно было *просторным*. Потому что в нём было *пространство*. Не теснота песчинки. Не давление камня. Не слепота мха. Не темнота жука. А *вода*. Много воды. Во все стороны. Вверх и вниз. Влево и вправо. И в этой воде, в этом просторе, в этом *можно плыть куда хочешь*, — Мадхура впервые почувствовала что-то, что было похоже на *свободу*.

Не свободу. Не ту свободу, которая была в Голоке. Не ту, которая не нуждается в определении, потому что она *есть*, как вода есть для рыбы. А *тень* свободы. *Намёк* на свободу. *Воспоминание* о свободе, которого не может быть, потому

что помнить нечем.

Но *было*.

И искра дрогнула в четвёртый раз. И в этом дрожании было что-то, что было похоже на *тоску*. Не тоску. Не мысль. Не имя. А *направление*. Вверх. К поверхности. К свету. К тому, что *над*. К тому, что *больше*. К тому, что *не вода*.

Мадхура не знала, что ищет.

Но искала.

*Потом — птица.*

Рыба умерла. Рыба стала илом. Ил стал берегом. И на берегу, в камышах, в гнезде из сухих травинок, — что-то пискнуло.

Птенец.

Маленький. Голый. Слепой. С клювом, который требовал. С крыльями, которые не умели. С сердцем, которое билось так быстро, что казалось, оно сейчас лопнет.

Птица *летала*.

Это было седьмое открытие. После отсутствия, веса, движения, роста, желания, ощущения, боли, воли и простора — *полёт*. Не плавание. Не ползание. Не течение. А *полёт*. Вверх. Над водой. Над землёй. Над камышами. Над всем. В небо. В воздух. В то пространство, где нет ни воды, ни земли, ни дна, ни берега. Где есть только *воздух* и *ты* и *ветер*.

Мадхура была птицей.

И летала.

И видела *сверху*.

И это было седьмое дно. И оно было *высоким*. Потому что в нём было *расстояние*. Не теснота. Не давление. Не темнота. А *высота*. И с этой высоты, с этого полёта, с этого *я над всем*, — Мадхура впервые увидела *мир*. Не изнутри. Не как песчинка, которая не знает, что она в пустыне. Не как рыба, которая не знает, что она в реке. А *сверху*. Как видят то, что *есть*. Как видят *целое*.

И в этом *целом*, в этом *я вижу всё и всё не видит меня*, в этом *я над*, — Мадхура почувствовала что-то, что было похоже на *центр вселенной*. Не центр. Не настоящий. А *тень центра*. *Намёк* на центр. *Воспоминание* о том, что когда-то она хотела быть центром.

И искра дрогнула в пятый раз. И в этом дрожании было что-то, что было похоже на *гордость*. Не гордость. Не мысль. Не слово. А *ощущение*. Маленькое. Птичье. Тёплое. *Я лечу*. *Я вижу*. *Я над*. *Я — здесь*.

Мадхура не знала, кто она.

Но знала, что *летит*.

*Потом — волк*.

Птица умерла. Птица стала перьями и костями. Кости стали землёй. И в лесу, в стае, в холоде, в голоде, — что-то *завыло*.

Волк.

Серый. Худой. С рёбрами, которые проступали сквозь шкуру. С глазами, которые видели в темноте. С зубами, которые рвали. С лапами, которые бежали. С голосом, который

звал.

Волк чувствовал других.

Это было восьмое открытие. После отсутствия, веса, движения, роста, желания, ощущения, боли, воли, простора, полёта и гордости — *другие*. Не другие как препятствие. Не другие как угроза. Не другие как то, что говорит «нет». А другие как *стадо*. Как *свои*. Как те, рядом с кем тепло. Рядом с кем не один. Рядом с кем *есть*.

Мадхура была волком.

И бежала со стаей.

И выла.

И принадлежала.

И это было восьмое дно. И оно было *тёплым*. Потому что в нём было *мы*. Не «я». Не «моё». Не «дай». А *мы*. Стадо. Стая. Те, кто рядом. Те, кто дышит тем же воздухом. Те, кто бежит в ту же сторону. Те, кто воет ту же ноту.

И в этом *мы*, в этом *я не один*, в этом *нас много и мы вместе*, — искра дрогнула в шестой раз. И в этом дрожании было что-то, что было похоже на *любовь*. Не любовь. Не ту любовь, которая была в Голоке. Не ту, которая не нуждается в объекте, потому что она *есть*, как солнце есть. А *тень* любви. *Намёк* на любовь. *Воспоминание* о любви, которого не может быть, потому что помнить нечем.

Но было.

И Мадхура не знала, что любит.

Но *любила*. Стаю. Бег. Вой. Тепло чужого бока в холодную

ночь.

И это было ближе всего к *Нему*.

Потом — тишина.

Волк умер. Волк стал землёй. Земля стала глиной. Глина стала пылью. Пыль осела. И наступила тишина.

Не та тишина, которая в Голоке. Не та, которая *полная*. Не та, которая *звучит*. А та тишина, которая *пустая*. Которая *ждёт*. Которая *между*. Между последним телом и первым настоящим. Между животным и *тем, что дальше*. Между инстинктом и *выбором*. Между «я бегу со стаей» и «я *решаю*, куда бежать».

Мадхура висела в этой тишине. Не песчинка. Не камень. Не вода. Не мох. Не жук. Не рыба. Не птица. Не волк. И ещё не человек. А *между*. В той щели, где старое уже кончилось, а новое ещё не началось. В той паузе, где нота отзвучала, а следующая ещё не зазвучала.

И в этой тишине, в этой паузе, в этом *между*, — Мадхура впервые *подумала*.

Не как жук, который чувствует боль. Не как рыба, которая выбирает направление. Не как птица, которая видит сверху. Не как волк, который любит стаю. А *подумала*. Словом. Формой. Направлением.

*Кто я?*

Не вопрос. Не сознательный. Не оформленный. Но *вопрос*. Первый. Настоящий. Тот, который отличает человека от всего, что было до. Тот, который не задаёт ни песчинка,

ни камень, ни мох, ни жук, ни рыба, ни птица, ни волк. Тот, который задаёт только *человек*.

*Кто я?*

И в этом вопросе, в этой тишине, в этом *между*, — искра дрогнула в седьмой раз. И в этом дрожании было всё. Не память. Не узнавание. Не имя. А *всё*. Вся песчинка. Весь камень. Вся вода. Весь мох. Весь жук. Вся рыба. Вся птица. Весь волк. Вся боль. Весь страх. Весь полёт. Вся стая. Всё *было* и всё *есть* и всё *будет*.

И искра сказала: *Я хочу быть*.

Не песчинкой. Не камнем. Не водой. Не мхом. Не жуком. Не рыбой. Не птицей. Не волком.

*Кем-то, кто знает, что он есть*.

И материя ответила.

Не сразу. Не с поклоном. Не с уважением. А *механически*. Как отвечает автомат, когда бросаешь монету. Как отвечает глина, когда её мнут. Как отвечает утроба, когда в неё падает семя.

Мадхуру потянуло.

Не вниз. Не вверх. А *внутрь*. В тепло. В тесноту. В тук-тук. В чужое сердцебиение, которое стало громче, и ближе, и теплее, и *единственное*. В чужую утробу, которая строила. Клетка за клеткой. Слой за слоем. Элемент за элементом.

Панча-махабхута — пять грубых элементов материальной природы — начали обволакивать её тонкое тело, как слои папье-маше обволакивают воздушный шарик. Земля. Вода.

Огонь. Воздух. Эфир. Слои за слоями. Плотнее. Тяжелее. Грубее.

Мадхура чувствовала, как её *упаковывают*.

Сначала — тонкая оболочка. Потом — чуть грубее. Потом — ещё. И ещё. Каждый слой был как новое одеяло, брошенное на того, кто не просил укрываться. И с каждым новым слоем мир снаружи становился чуть дальше, чуть туманнее, чуть менее реальным. А мир внутри — теснее, тяжелее, более *настоящим*.

*Я не это, — попыталась сказать Мадхура. Я не эти клетки. Я не эти элементы. Я — джива. Я — вечность. Я —*

Мысль оборвалась. Не потому что кто-то её прервал. А потому что *некому было договаривать*. Ум уже начал перестраиваться под новый формат. Разум — буддхи — уже формировал первые логические цепочки, и все они вели к одному выводу: *это тело — ты*.

*Нет, — подумала Мадхура. Но подумала уже тише.*

*Это тело — ты, — повторил разум. Увереннее. Настоячивее. Как учитель, который объясняет нерадивому ученику простую истину. Это тело — ты. Это твои руки. Это твои ноги. Это твоё сердце. Это твоя кровь.*

*Нет, — подумала Мадхура. Но уже не так уверенно.*

Ложное эго — аханкара — третий компонент тонкого тела, самый хитрый, самый терпеливый, самый профессиональный из всех, — не спорил. Не убеждал. Не давил. Он просто *подождал*. Подождал, пока новые клетки лягут плот-

нее. Пока элементы станут грубее. Пока теснота станет привычной. А потом, мягко, как вор, который не крадёт, а *представляет мебель*, чтобы хозяин не заметил подмены, он сделал своё дело.

Он сменил точку отсчёта.

Было: *Я — душа, и у меня есть тело.*

Стало: *Я — тело, и у меня есть душа. Где-то. Наверное.*

Мадхура не заметила, когда это произошло. В этом и заключалась главная ирония Майи: она не крадёт память. Она просто делает так, что ты *не хочешь* вспоминать. Что тебе *удобно* забыть. Что забывание ощущается не как потеря, а как *облегчение*.

Потому что помнить — значит тосковать.

А тосковать в мясном скафандре, размером с маковое зерно, в темноте чужой утробы, под стук чужого сердца — это было слишком. Слишком больно. Слишком тяжело. Слишком *невыносимо*.

И Мадхура выбрала не помнить.

Не сразу. Не целиком. Не полностью. Она просто *отпустила*. Чуть-чуть. На миллиметр. Как человек, который держит горящую свечу на ветру и решает: «Я просто на секунду прикрою глаза». А когда открывает — свечи уже нет. И ветер стих. И темнота стала уютной.

Тук-тук. Тук-тук. Тук-тук.

Чужое сердце било свой ритм. И Мадхура начала подстраиваться. Не потому что хотела. А потому что *не было другого*

*ритма*. Этот был единственным. И он был тёплым. И он был *здесь*. И этого было достаточно, чтобы забыть, что когда-то был другой.

Где-то там. Далеко. В другой жизни. В другом мире. Где сердцебиение было не звуком плоти, а звуком любви. Где ритм задавал не насос из мышц и клапанов, а тот, кто стоит на берегу и смотрит тебе вслед. И ждёт. И улыбается. И не торопит.

Мадхура не помнила, кто это.

Мадхура не помнила, *что* она не помнит.

Она знала только, что ей тесно. Что ей тепло. Что где-то сверху, за слоями плоти и жидкости, есть *кто-то*, кто её несёт. И этот кто-то — не она. И она не может им управлять. И она полностью, абсолютно, унизительно *зависит* от него.

*Я центр вселенной*, — подумала Мадхура в последний раз. И эта мысль прозвучала уже не как утверждение. Не как декларация. Не как план.

Она прозвучала как шутка. Как анекдот, который никто не понял. Как вывеска на заброшенном магазине: «Мы открыты», хотя дверь заколочена уже сто лет.

И тогда Мадхура сделала то, чего не делала никогда раньше. Ни в Голоке Вриндаване, ни в тонком теле, ни в момент падения. Ни будучи песчинкой. Ни камнем. Ни водой. Ни мхом. Ни жуком. Ни рыбой. Ни птицей. Ни волком.

Она *уснула*.

Не духовным сном. Не йогой-нидрой. Не медитативным

погружением. Обычным, животным, тяжёлым сном существования, которое слишком устало, чтобы помнить. Которому слишком тесно, чтобы думать. Которому слишком страшно, чтобы бодрствовать.

Сном зародыша.

И в этом сне, на самой границе сознания, там, где ложное эго ещё не успело положить свою лапу, где разум ещё не сформулировал первый тезис, где ум ещё не начал перебирать чужие мысли, — в этой узкой, тёмной, почти несуществующей щели между сном и явью — Мадхуре приснился звук.

Не флейта. Нет. Флейта — это было бы слишком. Слишком ясно. Слишком *там*.

Ей приснился *отзвук*. Эхо эха. Тень тени. Как будто кто-то очень далеко, за миллионом стен, за миллиардом лет, за бесконечной чередой рождений и смертей, за песчинкой и камнем и водой и мхом и жуком и рыбой и птицей и волком, прижал губы к флейте и выдохнул. И этот выдох долетел сюда. В эту тесноту. В эту темноту. В это маковое зерно, завёрнутое в плоть.

Долетел. Коснулся. И растаял.

Мадхура не проснулась. Не вспомнила. Не заплакала.

Она просто *вдохнула* во сне. Крошечным, бесшумным вздохом существа, которое ещё не родилось, но уже скучает. По чему — не знает. По кому — не помнит. Но скучает. Так, как скучает вода по реке, из которой её выплеснули на берег.

Так, как скучает искра по костру, из которого её выдул ветер.  
Так, как скучает песчинка по той руке, которая её когда-то держала, и камень по той реке, которая его когда-то точила, и мох по тому свету, к которому он когда-то тянулся, и жук по той земле, в которой он когда-то прятался, и рыба по той воде, в которой она когда-то плыла, и птица по тому небу, в котором она когда-то летала, и волк по той стае, с которой он когда-то был.

Тук-тук. Тук-тук. Тук-тук.

Чужое сердце продолжало бить.

И Мадхура спала.

И забывала.

И росла.

*Где-то на берегу Голоки Вриндаваны Кришна не играл большие на флейте. Он просто стоял. И смотрел. Не в ту точку, где она исчезла, а в ту точку, где она сейчас была. В эту крошечную, тёмную, тёплую точку внутри чужого тела.*

*Он видел её. Всегда видел. Не глазами — глазами не нужно видеть то, что является частью тебя. Он видел её так, как солнце видит свой луч. Не наблюдая. Не отслеживая. Просто будучи источником.*

*Он видел песчинку. Видел камень. Видел воду. Видел мох. Видел жука. Видел рыбу. Видел птицу. Видел волка. Видел каждый шаг. Каждое дно. Каждое между. Каждое дрожание искры. Каждое слепое, бессловесное, бесклеточное хочу.*

*Каждое не хочу. Каждое кто я.*

*И Он улыбался. Не той улыбкой, которой улыбаются, когда всё хорошо. Той улыбкой, которой улыбаются, когда больно, но ты знаешь, что боль пройдёт. Когда ждёшь. Когда любишь так, что любовь не требует присутствия. Не требует ответа. Не требует даже памяти.*

*Просто любит.*

*И ждёт.*

*И играет одну ноту. Так тихо, что её слышит только тот, кто уже почти забыл, как слушать.*

*Но где-то в глубине падающей души, под всеми слоями ложного эго, под гулом ума, под холодной логикой разума, под песчинкой и камнем и водой и мхом и жуком и рыбой и птицей и волком, под тук-тук и темнотой и теснотой, — эта нота осела. Как пыльца. Как семя. Как обещание, которое не имеет срока годности.*

*Кришна убрал флейту. Улыбнулся.*

*И стал ждать.*

*Сколько потребуется.*

## Глава 2. Мясной скафандр

Вход в материальное тело не был похож на триумфальное шествие. Он был похож на то, как если бы океан попытались влить в напёрсток. Не через воронку. Без разрешения напёрстка. И с обязательством, что океан теперь будет считать себя лужей.

Мадхура не выбирала момент. Карма не спрашивает расписания. Она просто *произошла* — эта пересадка, этот переезд, это вселение в чужую недвижимость без договора аренды и без возможности расторжения.

Одно мгновение назад она была точкой, падающей сквозь слои материальной атмосферы. Следующее — она уже *внутри*.

Внутри чего-то тёплого. Тесного. Влажного. Живого.  
*Где я?*

Вопрос был риторическим, потому что отвечать было некому. Ум — манас — уже работал, но работал как радиоприёмник, настроенный на пустую частоту: шипел, трещал, ловил обрывки чужих сигналов, но не мог собрать ни одной полной мысли.

Темнота.

Не та темнота, которую Мадхура знала раньше. В Голоке Вриндаване не было темноты, потому что не было отсутствия света. Здесь темнота была *субстанцией*. Она давила.

Обволакивала. Заполняла всё пространство, которого, если честно, почти не было.

Пространство. Вот что было по-настоящему оскорбительным.

Мадхура — вечная, бесконечная, неделимая джива, частица того самого Сверхсознания, которое вмещает в себя миллионы вселенных, — была упакована в пространство размером с маковое зерно. Нет, меньше. С точку на конце предложения. С запятую в бесконечном тексте кармы, которую никто не просил ставить.

*Я центр вселенной*, — подумала она. Но мысль получилась какой-то приглушённой, как крик из-под воды.

Вокруг не было вселенной. Вокруг была плацента.

И сердцебиение.

Вот оно. Единственный звук в этой абсолютной, герметичной, бархатной темноте. Тук-тук. Тук-тук. Тук-тук. Ровный, размеренный, чужой. Не её сердце. Чужое. Огромное по сравнению с ней. Как барабан, в который бьёт невидимый великан, задавая ритм, которому она теперь обязана подчиняться.

Тук-тук.

Мадхура прислушалась. Не потому что хотела. Потому что больше нечего было слушать. Этот звук был единственным якорем в океане тесноты, единственным доказательством, что снаружи существует что-то, кроме неё.

Тук-тук.

И в этом ритме, в этой монотонной, бесконечной пульсации, Мадхуре на мгновение почудилось что-то другое. Не тук-тук. Не удары плоти о плоть. А что-то более мягкое. Более тёплое. Более *живое*.

Как будто кто-то дышит. Не качает кровь, а *дышит*. Ровно. Спокойно. С улыбкой в голосе.

Как будто кто-то играет на флейте, но так далеко, что музыка превратилась в один-единственный тягучий звук, и этот звук — не мелодия, а *имя*. Её имя. То, которое она забыла ещё до того, как родилась.

Мадхура напряглась. Попыталась ухватить это ощущение. Потянуться к нему. Вспомнить.

И не смогла.

Звук растворился. Осталось только тук-тук. Чужое сердце. Чужая кровь. Чужая жизнь, которая несла её в себе, как река несёт щепку, не зная и не спрашивая, куда та хочет плыть.

*Что это было?*

Но ум уже не ответил. Ум был занят другим. Ум был занят *строительством*.

Это было, пожалуй, самое ироничное зрелище во всей истории воплощения. Мадхура — та самая душа, которая хотела, чтобы всё вращалось вокруг неё, — теперь была вынуждена наблюдать, как вокруг неё *строят*. Не она строила. Строили *её*. Из неё. Для неё. Без её согласия.

Сначала появились клетки. Микроскопические, слепые,

бессмысленные клетки, которые начали делиться с механическим упорством конвейерных рабочих. Две. Четыре. Восемь. Шестнадцать. Каждая новая клетка была чуть более материальной, чуть более *здесь*, чем предыдущая. И каждая новая клетка ложилась на Мадхуру, как кирпич на каркас здания, которое она не проектировала.

Потом появились слои. Элементы. Земля. Вода. Огонь. Воздух. Эфир. Пять грубых элементов материальной природы — панча-махабхута — начали обволакивать её тонкое тело, как слои папье-маше обволакивают воздушный шарик. Слой за слоем. Плотнее. Тяжелее. Грубее.

Мадхура чувствовала, как её *упаковывают*.

Сначала — тонкая оболочка. Потом — чуть грубее. Потом — ещё. И ещё. Каждый слой был как новое одеяло, наброшенное на того, кто не просил укрываться. И с каждым новым слоем мир снаружи становился чуть дальше, чуть туманнее, чуть менее реальным. А мир внутри — теснее, тяжелее, более *настоящим*.

*Я не это*, — попыталась сказать Мадхура. *Я не эти клетки. Я не эти элементы. Я — джива. Я — вечность. Я —*

Мысль оборвалась. Не потому что кто-то её прервал. А потому что *некому было договаривать*. Ум уже начал перестраиваться под новый формат. Разум — буддхи — уже формировал первые логические цепочки, и все они вели к одному выводу: *это тело — ты*.

*Нет*, — подумала Мадхура. Но подумала уже тише.

*Это тело — ты, — повторил разум. Увереннее. Настоящее. Как учитель, который объясняет нерадивому ученику простую истину. Это тело — ты. Это твои руки. Это твои ноги. Это твоё сердце. Это твоя кровь.*

*Нет, — подумала Мадхура. Но уже не так уверенно.*

Ложное эго — аханкара — третий компонент тонкого тела, самый хитрый, самый терпеливый, самый профессиональный из всех, — не спорил. Не убеждал. Не давил. Он просто *подождал*. Подождал, пока новые клетки лягут плотнее. Пока элементы станут грубее. Пока теснота станет привычной. А потом, мягко, как вор, который не крадёт, а *переставляет мебель*, чтобы хозяин не заметил подмены, он сделал своё дело.

Он сменил точку отсчёта.

Было: *Я — душа, и у меня есть тело.*

Стало: *Я — тело, и у меня есть душа. Где-то. Наверное.*

Мадхура не заметила, когда это произошло. В этом и заключалась главная ирония Майи: она не крадёт память. Она просто делает так, что ты *не хочешь* вспоминать. Что тебе *удобно* забыть. Что забывание ощущается не как потеря, а как *облегчение*.

Потому что помнить — значит тосковать.

А тосковать в мясном скафандре, размером с маковое зерно, в темноте чужой утробы, под стук чужого сердца — это было слишком. Слишком больно. Слишком тяжело. Слишком *невыносимо*.

И Мадхура выбрала не помнить.

Не сразу. Не целиком. Не полностью. Она просто *отпустила*. Чуть-чуть. На миллиметр. Как человек, который держит горящую свечу на ветру и решает: «Я просто на секунду прикрою глаза». А когда открывает — свечи уже нет. И ветер стих. И темнота стала уютной.

Тук-тук. Тук-тук. Тук-тук.

Чужое сердце било свой ритм. И Мадхура начала подстраиваться. Не потому что хотела. А потому что *не было другого ритма*. Этот был единственным. И он был тёплым. И он был *здесь*. И этого было достаточно, чтобы забыть, что когда-то был другой.

Где-то там. Далеко. В другой жизни. В другом мире. Где сердцебиение было не звуком плоти, а звуком *любви*. Где ритм задавал не насос из мышц и клапанов, а тот, кто стоит на берегу и смотрит тебе вслед. И ждёт. И улыбается. И не торопит.

Мадхура не помнила, кто это.

Мадхура не помнила, *что* она не помнит.

Она знала только, что ей тесно. Что ей тепло. Что где-то сверху, за слоями плоти и жидкости, есть *кто-то*, кто её несёт. И этот кто-то — не она. И она не может им управлять. И она полностью, абсолютно, унижительно *зависит* от него.

*Я центр вселенной*, — подумала Мадхура в последний раз. И эта мысль прозвучала уже не как утверждение. Не как декларация. Не как план.

Она прозвучала как шутка. Как анекдот, который никто не понял. Как вывеска на заброшенном магазине: «Мы открыты», хотя дверь заколочена уже сто лет.

И тогда Мадхура сделала то, чего не делала никогда раньше. Ни в Голоке Вриндаване, ни в тонком теле, ни в момент падения.

Она *уснула*.

Не духовным сном. Не йогой-нидрой. Не медитативным погружением. Обычным, животным, тяжёлым сном существования, которое слишком устало, чтобы помнить. Которому слишком тесно, чтобы думать. Которому слишком страшно, чтобы бодрствовать.

Сном зародыша.

И в этом сне, на самой границе сознания, там, где ложное эго ещё не успело положить свою лапу, где разум ещё не сформулировал первый тезис, где ум ещё не начал перебирать чужие мысли, — в этой узкой, тёмной, почти несуществующей щели между сном и явью — Мадхуре приснился звук.

Не флейта. Нет. Флейта — это было бы слишком. Слишком ясно. Слишком *там*.

Ей приснился *отзвук*. Эхо эха. Тень тени. Как будто кто-то очень далеко, за миллионом стен, за миллиардом лет, за бесконечной чередой рождений и смертей, прижал губы к флейте и выдохнул. И этот выдох долетел сюда. В эту тесноту. В эту темноту. В это маковое зерно, завёрнутое в плоть.

Долетел. Коснулся. И растаял.

Мадхура не проснулась. Не вспомнила. Не заплакала.

Она просто *вдохнула* во сне. Крошечным, бесшумным вздохом существа, которое ещё не родилось, но уже скучает. По чему — не знает. По кому — не помнит. Но скучает. Так, как скучает вода по реке, из которой её выплеснули на берег. Так, как скучает искра по костру, из которого её выдул ветер.

Тук-тук. Тук-тук. Тук-тук.

Чужое сердце продолжало бить.

И Мадхура спала.

И забывала.

И росла.

*Где-то на берегу Голоки Вриндаваны Кришна не играл больше на флейте. Он просто стоял. И смотрел. Не в ту точку, где она исчезла, а в ту точку, где она сейчас была. В эту крошечную, тёмную, тёплую точку внутри чужого тела.*

*Он видел её. Всегда видел. Не глазами — глазами не нужно видеть то, что является частью тебя. Он видел её так, как солнце видит свой луч. Не наблюдая. Не отслеживая. Просто будучи источником.*

*И Он улыбался. Не той улыбкой, которой улыбаются, когда всё хорошо. Той улыбкой, которой улыбаются, когда больно, но ты знаешь, что боль пройдёт. Когда ждёшь. Когда любишь так, что любовь не требует присутствия. Не требует ответа. Не требует даже памяти.*

*Просто любит.*

*И ждёт.*

*И играет одну ноту. Так тихо, что её слышит только тот, кто уже почти забыл, как слушать.*

## Глава 3. Первый вдох и первый долг

Рождение не было похоже на выход из дворца. Оно было похоже на выселение из квартиры за неуплату. Грубо. Шумно. Без предупреждения. И с обязательством немедленно начать платить по новому адресу.

Мадхура не успела подготовиться. Никто не спросил: «Уважаемая джива, вы готовы покинуть уютную тесноту и вступить в мир, где вам придётся самостоятельно дышать, есть, испражняться и платить налоги?» Никто не предложил ей выбрать время, место или позу. Карма не ведёт переговоров. Карма ставит перед фактом.

Стены, которые девять месяцев были её вселенной — тёплыми, пульсирующими, надёжными, — вдруг *сжались*. Не мягко. Не постепенно. А с той безжалостной механической силой, с которой тюбик выдавливает пасту. Мадхуру *выдавили*. Сверху. Снизу. Со всех сторон. Как будто сама материя решила: «Хватит. Выходи. Твоя аренда истекла».

И она вышла.

Первое, что ударило по ней, был холод.

Не тот холод, который бывает зимой в Голоке Вриндаване, когда Кришна в шутку обрызгивает гопи водой из Ямуны и они визжат от восторга. Нет. Этот холод был *враждебным*.

Сухим. Колючим. Он набросился на мокрую, беззащитную кожу, как тысяча мелких иголок, и Мадхура поняла, что воздух — это не просто пространство. Это *субстанция*. И она *трогает*. И ей *не нравится*, как она трогает.

Вторым был свет.

Не мягкое, живое сияние Голоки, где свет исходит от всего и не имеет источника. Не тёплая темнота утробы, где свет был не нужен, потому что видеть было нечего. А *резкий*, режущий, беспощадный свет, который вонзился в глаза, как нож. Мадхура не могла закрыть глаза — она не знала, как это делается. Не могла отвернуться — шея не слушалась. Она просто лежала и *получала* этот свет, как получают пощёчину.

Третьим был звук.

Не тук-тук. Не тот ровный, знакомый, единственно возможный ритм, который был её колыбельной девять месяцев. А *хаос*. Крики. Голоса. Шум. Шорох. Звон. Всё сразу. Громко. Бессмысленно. Как будто кто-то включил тысячу радиоприёмников одновременно и ни один не настроил на нужную волну.

Мадхура хотела закричать. Не от боли. Не от страха. А от *возмущения*. Она — центр вселенной. Она — вечная душа. Она пришла сюда *посмотреть*, а не терпеть. Она хотела крикнуть: «Остановитесь! Выключите свет! Верните тук-тук!»

Но вместо крика из неё вышло что-то другое. Что-то маленькое, жалкое, мокрое и абсолютно не соответствующее её

духовному статусу.

Писк.

Тонкий, дрожащий, беспомощный писк существа, которое не понимает, что происходит, и не имеет ни одного инструмента, чтобы это изменить.

И тогда пришёл шлепок.

Большая, грубая, тёплая ладонь ударила её по тому месту, которое в Голоке Вриндаване не имело бы названия, потому что там не было необходимости в таких местах. Удар был не злой. Не жестокий. Скорее — технический. Как хлопают по прибору, который не включается. Как стучат по старому телевизору, чтобы пошла картинка.

*Включись, — говорила ладонь. Дыши. Ты должна дышать. Это не обсуждается.*

И Мадхура вдохнула.

Первый вдох в материальном мире — это не поэзия. Это не метафора. Это не «глоток свободы». Это *боль*. Это ощущение, как будто кто-то взял два сухих, слипшихся, никогда не работавших воздушных шарика и *разорвал* их изнутри. Лёгкие — два крошечных мешка из плоти — раскрылись впервые, и воздух хлынул в них, как вода в трюм тонущего корабля. Грубо. Не спрашивая разрешения. Заполняя каждую щель.

Мадхура закричала.

По-настоящему. Громко. Надрывно. Так, как кричат только новорождённые — всем телом, всеми клетками, всей бес-

конечной, вечной, неуничтожимой душой, которая вдруг обнаружила, что заперта в трёх килограммах мокрого мяса, и это мясо *требует*.

Кричит не тело. Кричит *душа*. Потому что в этот первый крик она вкладывает всё, что не может сказать словами: «Я не хотела! Я не просила! Верните меня обратно! Верните тук-тук! Верните темноту! Верните *тепло!*»

Но никто не услышал. Никто не понял. Никто не перевёл. Для всех вокруг это был просто крик здорового ребёнка. Хороший знак. Лёгкие работают. Значит, живая. Значит, всё в порядке.

*Всё в порядке.*

Мадхура хотела бы поспорить с этой формулировкой, но у неё не было слов. У неё не было языка в том смысле, в котором она привыкла. Был только рот. Маленький, беззубый, слюнявый рот, который уже начал делать то, для чего был создан.

Требовать.

Голод пришёл через три минуты после рождения. Три минуты. Три крошечные, ничтожные минуты в мире, где время только началось, а тело уже *требовало*. Не просило. Не намекало. *Требовало*. Как хозяин требует от слуги: «Корми. Сейчас. Немедленно. Мне плевать, что ты только что родился. Мне плевать, что ты ещё не понял, где ты. Мне плевать, что ты — вечная душа и центр вселенной. Я — желудок. И я пуст. И это *твоя* проблема».

Мадхура не знала, что такое желудок. Но она знала, что такое *пустота*. И эта пустота была не духовной. Не экзистенциальной. Не той сладкой, щемящей пустотой, которая бывает, когда ты скучаешь по кому-то, кого не можешь вспомнить. Это была *механическая* пустота. Физическая. Грубая. Пустота мешка, который нужно наполнить, иначе он начнёт переваривать сам себя.

И Мадхура заплакала. Снова. Громче. Настойчивее.

*Я центр вселенной, —* подумала она где-то в глубине, под слоями крика, холода и голода. *Я центр вселенной, и я хочу есть.*

Ирония была настолько совершенной, что если бы Кришна сейчас наблюдал за ней — а Он наблюдал, всегда наблюдал, — Он бы, наверное, улыбнулся. Той самой улыбкой, которой улыбаются, когда видишь, как очень гордый человек поскальзывается на банановой кожуре. Не со злостью. Не с издевкой. А с бесконечной, бесконечной нежностью.

*Я центр вселенной, и я хочу есть. Я центр вселенной, и мне холодно. Я центр вселенной, и я не могу удержать голову. Я центр вселенной, и кто-то должен вытереть мне нос.*

Это и был первый долг.

Не кармический. Не духовный. Не тот долг, который копится жизни за жизнью и возвращается бумерангом. А самый первый, самый примитивный, самый *унизительный* долг материального существования: *долг обслуживания тела.*

Тело не спрашивает, кто ты. Телу не интересно, что ты была частицей Сверхдуши. Телу не важно, что ты видела Голоку Вриндавану и слышала флейту. Тело говорит: «Корми. Грей. Мой. Укачивай. Иначе я сломаюсь. И тогда ты, вечная, неуничтожимая джива, останешься без скафандра. И тебе придётся искать новый. А это, поверь, ещё менее приятно».

Мадхура не знала слова «обслуживание». Но она уже чувствовала его суть. Чувствовала каждой клеткой этого мокрого, кричащего, совершенно беспомощного куска плоти, который *был* ею. Который *не был* ею. Который она *считала* собой, потому что ложное эго уже сделало свою работу и переставило мебель.

*Это ты, — шептала аханкара. Это твоё тело. Твой голод. Твой холод. Твой крик. Ты — это. И ты будешь обслуживать это. Всегда. До самой смерти. А потом — снова. И снова. И снова.*

Мадхура не хотела слушать. Но слушать было нечего. Был только крик. И голод. И холод. И чужие руки, которые подхватили её, завернули в ткань и прижали к чему-то тёплому.

К груди.

Не к той груди, которая бьётся тук-тук. Не к сердцу. К *молоку*. К источнику питания. К единственному, что сейчас имело значение для этого маленького, мокрого, бесконечно нуждающегося тела.

Мадхура прижалась. Не потому что хотела. Потому что *не*

могла не прижаться. Тело знало. Тело умело. Тело тянулось к теплу и пище с тем слепым, механическим упорством, с которым растение тянется к солнцу. Без мысли. Без выбора. Без достоинства.

И в момент, когда тепло чужой кожи коснулось её щеки, когда чужое сердцебиение — не то, не тук-тук, а другое, быстрое, взволнованное, материнское — застучало рядом, Мадхура почувствовала.

Не вспомнила. Не осознала. *Почувствовала.*

Что-то.

Слабое. Мимолётное. Как запах, который ты ловишь в толпе и не можешь определить. Как мелодия, которая звучит из открытого окна на третьем этаже, и ты останавливаешься, и слушаешь три секунды, и идёшь дальше, и уже не помнишь, что это было.

Тепло. Не это тепло. Не тепло чужой кожи и чужого молока. А *другое* тепло. То, которое не греет тело, а *наполняет*. Которое не снаружи, а изнутри. Которое не зависит от того, прижался ты к кому-то или нет. Которое *есть*. Всегда. Даже когда ты его не чувствуешь. Даже когда ты его забыл. Даже когда ты кричишь от голода в чужих руках и не понимаешь, кто ты и где ты.

Это тепло было *им*.

Мадхура не знала, кто такой «им». Не знала, что это имя начинается на букву, которую она забудет на тысячи лет. Не знала, что это тепло — не метафора, не эмоция, не химиче-

ская реакция в мозгу новорождённого. Это тепло — *Он*. Тот, кто стоит на берегу. Тот, кто ждёт. Тот, кто играет одну ноту, которую никто не слышит.

Но Мадхура не вспомнила.

Она просто *прижалась плотнее*. К чужой груди. К чужому теплу. К чужому молоку. И заплакала. Не от голода. Не от холода. А от чего-то, чему у неё не было имени. От чего-то, что было глубже голода. Глубже холода. Глубже крика.

От *тоски*. Бесформенной. Безадресной. Безымянной. Тоски по тому, чего не помнишь. По тому, кого не знаешь. По тому, что было *до*. До тук-тук. До темноты. До мясного скафандра. До первого вдоха и первого шлепка.

Мадхура заплакала. И её накормили. И ей стало теплее. И голод утих. И тело успокоилось. И ум, этот предатель, этот менеджер, этот бухгалтер, сказал: «Вот видишь? Всё хорошо. Тебя накормили. Тебя согрели. Ты в безопасности. Забудь. Спи».

И Мадхура уснула.

Снова. Как в утробе. Как в тонком теле. Как в момент падения. Уснула не потому что хотела. А потому что тело *потребовало*. Потому что обслуживание скафандра включает в себя сон. И если скафандр не спит, он ломается. А ломать скафандр нельзя. Потому что новый будет ещё хуже.

И во сне, на самой границе сознания, там, где ложное эго ещё не успело положить свою лапу, Мадхуре снова приснился звук.

Не флейта. Нет. Флейта — это было бы слишком. Слишком ясно. Слишком *там*.

Ей приснилось *тепло*. Не чужое. Не материнское. Не тепло молока и кожи. А *своё*. Родное. Вечное. То, которое не нужно зарабатывать. Не нужно просить. Не нужно *обслуживать*. То, которое просто *есть*. Как солнце. Как воздух. Как имя, которое ты забыл, но которое не забыло тебя.

Мадхура вздохнула во сне. Крошечным, бесшумным вздохом. И прижалась к чужой груди. И заснула глубже.

А где-то очень далеко, за миллионами слоёв материи, за гунами, за кармой, за временем, которое только начало свой отсчёт, кто-то улыбнулся.

И подул в флейту.

Одну ноту. Тихую. Такую тихую, что её не услышал бы ни один обитатель Вавилона. Ни один жрец. Ни один царь. Ни одна мать, прижимающая к груди новорождённого ребёнка.

Но *она* услышала. Где-то там. В самой глубине. Под тремя слоями ложного эго. Под гулом ума. Под холодной логикой разума. Под голодом и холодом и первым долгом обслуживания скафандра.

Услышала. И не проснулась. И не вспомнила.

Просто *улыбнулась во сне*.

*На берегу Голоки Вриндаваны Кришна убрал флейту. Посмотрел в ту сторону, где сейчас, в тесной комнате из глиняных кирпичей, в городе, которого через тысячу лет не останется даже в памяти, спал маленький, мокрый, беско-*

*нечно голодный комочек плоти.*

*Внутри этого комочка была она. Мадхура. Его Мадхура. Та, которая сказала: «Я просто посмотрю и вернусь».*

*Кришна не торопил. Не звал. Не требовал.*

*Он просто стоял. И ждал. И любил.*

*Потому что любовь не требует. Любовь не торопит. Любовь не обижается на то, что её забыли.*

*Любовь просто есть. Как солнце. Как воздух. Как первая нота флейты, которую никто не слышит, но без которой всё перестаёт звучать.*

*И Кришна ждал.*

*Сколько потребуется.*

## Глава 4. Имя как первая клетка

На седьмой день после рождения её принесли в храм.

Не в тот храм, который она знала. Не в тот, где стены дышат, где каждый камень поёт, где свет падает не сверху, а *изнутри*, и где имя, которое тебе дают, — это не ярлык, а *ключ*. Ключ к твоей истинной форме, к твоей расе, к твоему вечному месту в лиле.

Нет. Этот храм был из глины. Из обожжённой, серой, пахнущей дымом и козым жиром глины. Стены были украшены барельефами существ с крыльями и человеческими головами, которые смотрели на Мадхуру с тем выражением, с каким смотрят на неоплаченный счёт: «Ты здесь надолго. И ты нам должна».

Мадхура не могла видеть барельефы. Её глаза ещё не умели фокусироваться. Но она чувствовала *тяжесть*. Тяжесть камня. Тяжесть дыма. Тяжесть десятков тел, которые столпились вокруг неё и дышали, и потели, и шептались, и ждали.

Ждали чего-то. От неё.

*Меня принесли сюда, чтобы я благословила их*, — подумала Мадхура. Мысль была наивной, но логичной. В Голоке Вриндаване, когда появлялась новая душа, все собирались вокруг и *радовались*. Не потому что нужно было что-то сделать. А потому что радость была *сутью* момента.

Здесь радость была *обязанностью*. И Мадхура уже начала подозревать, что в этом мире обязанности заменяют всё. Включая любовь.

Её держали на руках. Не те руки, которые прижимали к груди в первую ночь. Другие. Грубее. Суше. Пахнущие благовониями и чужим потом. Руки жреца.

Жрец был старым. Или казался старым. В материальном мире трудно определить возраст, потому что время здесь работает не как кольцо, а как наждачная бумага — стирает, царапает, оставляет следы. Жрец был стёрт. Поцарапан. Покрыт следами чужих ожиданий и собственных разочарований.

Он смотрел на Мадхуру. Мадхура смотрела на него. Точнее, она пыталась смотреть. Её глаза косили, расплывались, не могли удержать фокус дольше секунды. Но она *чувствовала* его взгляд. Тяжёлый. Оценивающий. Как взгляд покупателя на рынке, который прикидывает, стоит ли товар своей цены.

*Ну? — подумала Мадхура. Говори. Я слушаю. Я готова услышать своё имя. Моё настоящее имя. То, которое звучит как флейта. То, которое—*

Жрец открыл рот.

И произнёс звук, который не имел никакого отношения к флейте.

Это было имя. Материальное, грубое, состоящее из согласных и гласных, подогнанных под фонетику языка, кото-

рый через три тысячи лет исчезнет, не оставив после себя ничего, кроме пары глиняных табличек в музее, которого ещё не существует.

Имя было коротким. Удобным. Практичным. Оно означало что-то на местном наречии — что-то связанное с рекой, или с луной, или с урожайностью. Что-то *полезное*. Что-то, что привязывало её к земле, к месту, к функции.

*Это не моё имя*, — подумала Мадхура.

Она хотела сказать это вслух. Хотела произнести: «Это не моё имя. Моё имя — другое. Моё имя — это звук, который издаёт флейта, когда Кришна прижимает её к губам. Моё имя — это не слово. Это *мелодия*. Это не ярлык. Это *зов*. Это то, что произносят не для того, чтобы обозначить, а для того, чтобы *вернуть*».

Она открыла рот. Набрала воздух. Напрягла все три килограмма своего мокрого, красного, совершенно бесполезного тела. И произнесла:

— Уа-а-а-а!

Крик. Обычный, мокрый, младенческий крик. Без слов. Без смысла. Без достоинства. Крик, который говорит: «Мне неудобно. Я хочу есть. Я хочу спать. Я хочу, чтобы меня оставили в покое». Но *не* говорит: «Я вечная душа. Я центр вселенной. Это не моё имя».

Жрец не услышал. Или услышал, но не перевёл. Он кивнул. Улыбнулся той улыбкой, которой улыбаются взрослые, когда ребёнок делает что-то бессмысленное, но милое.

— Она приняла имя, — объявил он толпе.

*Я не приняла!* — хотела крикнуть Мадхура. *Я не приняла! Я не соглашалась! Это не моё имя!*

— Уа-а-а-а! — сказала она.

Толпа закивала. Кто-то засмеялся. Кто-то хлопнул в ладоши. Кто-то уже думал о еде, которая будет после церемонии. Кто-то прикидывал, сколько стоит этот ребёнок в пересчёте на будущую рабочую силу.

Мадхура была *наречена*. Запечатана. Зарегистрирована. Вписана в глиняную табличку, которая будет храниться в храмовом архиве, пока храм не разрушится, а табличка не расколется, и имя не станет пылью.

Но пока она была *именем*. И это имя было *ею*. Так решил жрец. Так решила толпа. Так решила глина. Так решила карма.

*Я не это*, — подумала Мадхура. Но подумала уже тише. Потому что ложное эго — аханкара — уже взяло имя в работу. Уже начало строить вокруг него первую стену. *Ты — это имя. Ты — эта дочь. Ты — этот город. Ты — эта глина. Ты — этот храм. Ты — эта табличка.*

*Нет*, — подумала Мадхура.

*Да*, — сказала аханкара. И поставила первый кирпич.

После храма её вернули матери. Мать была тёплой. Мать пахла молоком и потом. Мать смотрела на неё с тем выражением, которое Мадхура не могла расшифровать, но которое было похоже на *голод*. Не на голод желудка. На голод *сердца*.

Мать хотела, чтобы дочь была кем-то. Чтобы дочь *значила*. Чтобы дочь *вращала* вокруг себя мир.

Мадхура поняла это позже. Но уже сейчас, в этих руках, в этом запахе молока и пота, она почувствовала *ожидание*. Тяжёлое. Липкое. Как глина, из которой был сделан храм.

*Ты будешь моей*, — говорили руки матери. Не словами. Не мыслями. А тем глубинным, животным, собственническим чувством, которое в материальном мире называется любовью, но на деле является *привязанностью*. Гуной страсти. Рага.

*Я не твоя*, — хотела сказать Мадхура. *Я ничья*. *Я — часть Целого*. *Я — нота в мелодии*. *Я не принадлежу ни тебе, ни этому городу, ни этой глине*. *Я принадлежу только Тому, кто играет мелодию*.

Но она не знала, кто играет мелодию. Она забыла. Почти забыла. Остался только *след*. Как запах дыма в комнате, где давно потушили огонь. Как эхо шагов в пустом коридоре. Как имя, которое крутится на языке, но не вспоминается.

Мадхура прижалась к матери. Не потому что хотела. А потому что тело *потребовало*. Потому что обслуживание скафандра включает в себя тепло. И если скафандр не получает тепла, он ломается. А ломать скафандр нельзя.

Мать прижала её крепче. И запела.

Колыбельную. Простую. Монотонную. Состоящую из трёх нот, которые повторялись по кругу, как колесо сансары, только медленнее и скучнее. Мадхура слушала. Не потому

что хотела. А потому что не было другого звука.

И в этой колыбельной, в этих трёх нотах, в этой монотонной, бесконечной, глиняной мелодии, Мадхуре снова почудилось *другое*. Не три ноты. Не колесо. Не глина. А *одна* нота. Одна-единственная. Тихая. Тёплая. Живая. Нота, которая не повторяется, а *звучит*. Которая не крутится по кругу, а *летит*. Которая не привязывает, а *освобождает*.

Нота флейты.

Мадхура замерла. Прислушалась. Потянулась к этому звушку, как тянется росток к свету сквозь слой асфальта.

Звук исчез.

Осталась колыбельная. Три ноты. Колесо. Глина.

Мадхура заплакала. Тихо. Без надрыва. Просто слёзы. Две капли, которые скатились по щекам и впитались в ткань, которой она была завёрнута. Мать подумала, что это колики. Мать погладила её по спине. Мать запела громче.

А Мадхура лежала и чувствовала, как имя — чужое, грубое, глиняное имя — *растает* в неё. Как корни. Как гвозди. Как нити, которыми пришивают бирку к одежде. Бирка не является одеждой. Но без бирки одежда не попадёт на полку. Не будет продана. Не будет *существовать* в системе.

*Я — бирка*, — подумала Мадхура. И эта мысль была настолько нелепой, настолько *неправильной*, что она засмеялась. Или заплакала. В этом возрасте разница была невелика.

На следующий день отец принёс глиняную табличку.

Он был большим. Пах пылью и потом. У него были руки,

которые могли сломать глиняный горшок одним движением, и глаза, которые смотрели на Мадхуру с тем выражением, с которым смотрят на *инвестицию*. Не на дочь. На *проект*. На *будущую рабочую силу*. На *продолжение рода*. На *страховку на старость*.

Он положил табличку рядом с ней. На табличке было выцарапано её имя. Клинописью. Угловатыми, грубыми знаками, которые врезались в глину, как нож в мясо.

*Это ты, — сказали знаки. Это твоё имя. Это твоя судьба. Это твоя клетка. И ты будешь жить в ней, пока не умрёшь. А потом мы сделаем новую табличку. С новым именем. И новой клеткой.*

Мадхура посмотрела на табличку. Точнее, попыталась посмотреть. Глаза снова косили. Но она *видела*. Не глазами. Чем-то другим. Тем, что было глубже глаз. Глубже ума. Глубже ложного эго. Тем, что в Голоке Вриндаване называлось *сварупа* — истинная форма. Истинное «я».

И это «я» смотрело на глиняную табличку и думало: *Это не я. Это не моё имя. Моё имя не выцарапывают на глине. Моё имя произносят. Шёпотом. Сулыбкой. В момент, когда ты возвращаешься домой после долгой дороги. И Тот, кто произносит его, не смотрит на табличку. Он смотрит на тебя. В глаза. И говорит не имя. А говорит: «Ты вернулась».*

Мадхура не помнила, кто это говорит. Не помнила, какие глаза. Не помнила, какая дорога.

Но она помнила *чувство*. Чувство, которое бывает, когда

тебя называют *по-настоящему*. Не по табличке. Не по функции. Не по статусу. А по *сути*. По тому, что ты есть, когда нет ни тела, ни имени, ни города, ни глины.

Это чувство было *там*. Где-то. Далеко. За миллионами слоёв. За гунами. За кармой. За временем, которое только начало свой отсчёт.

И оно было *тёплым*.

Мадхура закрыла глаза. Не потому что хотела спать. А потому что *не хотела видеть табличку*. Не хотела видеть клинопись. Не хотела видеть своё чужое имя, выцарапанное в глине, как приговор.

Она закрыла глаза. И в темноте за веками, в той маленькой, тёплой, бесконечно тесной темноте, которая была единственным, что осталось от Голоки Вриндаваны, она увидела.

Не лицо. Не место. Не звук.

*Свет*. Тёплый. Живой. Не имеющий источника. Не имеющий направления. Просто свет. Который *есть*. Который *всегда есть*. Который не гаснет, даже если ты закроешь глаза. Даже если тебя запечатают в глину. Даже если тебе дадут чужое имя и скажут: «Это ты».

Свет был *им*.

Мадхура не знала, кто такой «им». Не знала, как его зовут. Не знала, как он выглядит. Не знала, что он играет на флейте и стоит на берегу и ждёт.

Но она знала, что свет *есть*. И что он *её*. И что она — *его*. И что никакая табличка, никакой жрец, никакая мать,

никакой отец, никакое имя, выцарапанное в глине, не может это изменить.

Не может. Но может *закрыть*. Может *завалить*. Может *заглушить*. Может сделать так, что ты забудешь. На тысячу лет. На миллион. На целую вечность.

Но свет не погаснет. Потому что он не её. Он *его*. А *он* не гаснет.

Мадхура открыла глаза. Табличка была всё ещё рядом. Имя было всё ещё на ней. Мир был всё ещё глиняным.

Мадхура заплакала. Громко. Требовательно. Как плачут все младенцы мира — без причины, без адреса, без надежды быть услышанными.

Мать подошла. Взяла на руки. Прижала. Запела колыбельную. Три ноты. Колесо. Глина.

Мадхура замолчала. Прижалась. Уснула.

И во сне, на самой границе сознания, там, где ложное эго ещё не успело положить свою лапу, она снова слышала. Не флейту. Не имя. Не слова.

*Вздых*. Тихий. Тёплый. Бесконечно далёкий. Вдых того, кто стоит на берегу и смотрит в темноту, где только что погасла маленькая точка света. И не торопит. Не зовёт. Не обижается.

Просто вздыхает.

И ждёт.

И любит.

# Глава 5. Молоко, пелёнки и карма

Первой задачей было удержать голову.

Мадхура узнала об этой задаче случайно, когда её подняли из горизонтального положения в вертикальное. Она лежала, размышляла о несправедливости устройства мира и вообще вела себя как положено центру вселенной — то есть никак. А потом чужие руки взяли её под мышки и приподняли.

И голова упала.

Не образно. Не метафорически. Не «она уронила голову в отчаянии». Она упала физически, вперёд, подбородком в грудь, с тем глухим, обидным звуком, с которым падает предмет, не имеющий собственного мнения.

Мадхура была поражена.

*Она вообще моя?* — подумала она. — *Я не давала разрешения.*

Но голова не ответила. Голова была занята своим делом: она весила столько, сколько весила голова. В этом и заключалась первая политическая реформа материального мира — здесь отменили символический вес личности и оставили только физический. Можно было быть вечной душой, частицей Сверхсознания, изначальной возлюбленной Абсолюта. Можно было быть центром, вокруг которого должно вращаться всё сущее.

Но голова при этом весила примерно триста граммов. И мышцы шеи, предназначенные её удерживать, ещё не успели прочитать этот план.

Мадхура попыталась поднять её усилием воли.

Голова не шелохнулась.

Она попыталась приказать голове. В конце концов, она — джива, источник сознания, повелительница этого тела. Тело обязано слушать.

Голова снова упала.

И тут произошло something, чего с ней никогда не случилось в Голоке Вриндаване.

Она рассердилась на собственную шею.

Это было настолько нелепо, что если бы кто-нибудь мог это увидеть — не глазами, а тем внутренним зрением, которым видят вещи в их истинном устройстве, — он бы, вероятно, заплакал от смеха. Или от жалости. В таких случаях эти две реакции неразличимы.

Вечная душа сердилась на три мышцы. Бессмертная требовала от Tempogary. Та, чья природа — вечное блаженство, — испытывала раздражение из-за того, что не может удерживать собственный череп.

*Я — не это, —* мелькнуло в ней.

И тут же, почти сразу:

*Но почему это меня не слушается?*

Вторая мысль была важнее первой. И страшнее. Потому что первая ещё сохраняла расстояние между душой и телом,

а вторая это расстояние уже сокращала. Первая говорила: «Я — не оно». Вторая спрашивала: «Почему оно меня не слушает?» — и тем самым признавала, что оно — *её*.

Аханкара, ложное эго, работало не покладая рук. Оно не спало, не ело, не уставало. У него была одна задача и одна специальность: постепенно,## за миллиметром, стирать границу между «я» и «не-я». И оно делало это не через убеждение. Не через аргументы. Оно делало это через *удобство*.

Через несколько недель Мадхура перестала задавать вопрос «почему оно меня не слушается».

Она начала думать: «я не могу удержать голову».

*Я.*

Слово было маленькое. Короткое. Невинное.

Но это было уже другое «я».

Второй задачей оказалось время.

В утробе времени не было в том мучительном смысле, в котором оно появилось теперь. Там был ритм: тук-тук, тук-тук, тук-тук. Ритм не требует от тебя ничего. Он просто идёт, и ты идёшь с ним, как листья по течению.

Здесь появился *режим*.

Режим был изобретён телом. Тело не советовалось с душой при его составлении. Тело не интересовалось, удобно ли ей, не хочет ли она ещё поспать, не мечтает ли она о минуте тишины и возможности подумать о чём-нибудь вечном.

Тело хотело есть. Тело хотело спать. Тело хотело, чтобы с него сняли мокрое. Тело хотело, чтобы его покачали. Тело

хотело, чтобы ему спели. Тело хотело, чтобы его не трогали. Тело хотело, чтобы его трогали.

Тело хотело всегда.

И между этими «хотело» не было пауз.

Мадхура обнаружила, что её жизнь состоит не из событий, а из *потребностей*. Потребность номер один сменялась потребностью номер два, которая перекрывалась потребностью номер три, и все они имели одинаковую срочность, одинаковую громкость и одинаковую способность отменять всё остальное.

В Голоке Вриндаване желания были. Но там желания были *праздником*: они возникали, исполнялись и тут же растворялись, не оставляя после себя ни следа, ни долга, ни следующего желания. Это был танец.

Здесь желания были *обязательством*.

Они возникали, требовали исполнения, оставляли после себя усталость — и тут же рождали новое желание. Это был не танец. Это был конвейер.

И Мадхура, та самая Мадхура, которая хотела, чтобы всё вращалось вокруг неё, обнаружила себя в уникальной, беспрецедентной, совершенно унижительной позиции:

**вокруг неё не вращалось ничего. Она вращалась вокруг тела.**

Она была центром вселенной в том смысле, в каком центральной отделением банка является центром банковской системы. Всё сходилось к ней. Все долги — к ней. Все жалобы

— к ней. Все требования — к ней.

И она обязана была это обслуживать.

Третьей задачей были пелёнки.

Мать пеленала её каждое утро. И каждое утро Мадхура переживала это как маленькую конституционную реформу.

Сначала мать расстилала на коленях кусок ткани. Потом клала на него Мадхуру. Потом брала её руки — эти две странные, пухлые, непослушные вещи — и прижимала их к груди. Потом оборачивала ткань вокруг груди. Потом вокруг ног. Потом ещё раз. Потом ещё.

И Мадхура оставалась в положении, которое она мысленно называла «я — свиток».

Двигаться нельзя. Вертеться нельзя. Уползать нельзя. Можно только лежать, смотреть в потолок и испытывать чувства.

*Это первый закон, — поняла Мадхура. — Первый закон материального мира. Ты не можешь двигаться. Но ты можешь хотеть.*

И это, как она ещё не знала, была самая удачная комбинация для любого государства, любой империи, любой системы рабства. Потому что если существо лишено возможности двигаться, но сохраняет возможность желать, оно становится идеальным узником. Оно само достраивает себе стены. Из желаний. Из ожиданий. Из «хочу», которые не сбываются, и «получил», которые не удовлетворяют.

Мадхура лежала в пелёнках и думала о свободе.

Впервые в своей вечной истории она думала о ней как о *том, чего нет*.

В Голоке Вриндаване она никогда не думала о свободе. Точно так же, как рыба не думает о воде, а нота — о возможности звучать. Свобода была не целью и не идеей. Свобода была средой.

Здесь среда сжалась до размеров куска ткани.

И самое страшное было не это.

Самое страшное было то, что через несколько недель Мадхура начала *успокаиваться* в пелёнках.

Ткань давила мягко. Ткань была тёплой. Ткань держала — и это ощущение «тебя держат» оказалось настолько приятным после падения, после тьмы, после сжатия тонкого тела, что Мадхура стала засыпать в них быстрее, чем где-либо ещё.

Она привыкла.

В этом и состояла работа Майи. Не в том, чтобы заключить тебя в тюрьму. А в том, чтобы сделать тюрьму достаточно тёплой, достаточно мягкой, достаточно *родной*, чтобы ты сам попросил: «Запеленайте меня ещё раз».

Четвёртой задачей оказалось управление миром.

И здесь Мадхура впервые столкнулась с кармой.

Не как с философской категорией. Не как с учением, которое можно обсуждать на лекциях. А как с практикой. С живой, действующей, немедленно отвечающей практикой.

Она обнаружила, что может кричать.

Это было открытие невероятной важности. До этого она кричала как реакция: холодно — крик, голодно — крик, мокро — крик. Механика. Рефлекс. Тело издавало звук, как скрипит несмазанная дверь.

Но однажды — ей было, наверное, два месяца — она крикнула *намеренно*.

Не потому что хотела есть. Не потому что было холодно. А потому что мать положила её на кровать и отвернулась. Отвернулась к чему-то другому. К глиняному кувшину. К огню. К своей собственной, отдельной, совершенно неинтересующейся ею жизни.

И Мадхура почувствовала то, что впоследствии станет основой всей её материальной биографии.

**Её не замечали.**

Центр вселенной лежал запелёнутый на кровати, а вселенная занималась кувшином.

Это было непереносимо.

Мадхура открыла рот и издала крик. Не голодный. Не холодный. Не мокрый. Крик другой частоты, с другой интонацией, с другим *намерением*.

Крик, который говорил: «Эй. Я здесь. Посмотри на меня. Немедленно».

Мать обернулась.

Подняла. Прижала. Покачала.

И Мадхура получила то, что хотела.

*Оно работает*, — подумала она.

И в этот момент в её тонком теле произошло событие, которое можно было бы назвать подписанием первого договора.

Никто не принёс ей пергамент. Никто не зачитал условия. Никто не сказал: «Поздравляем, теперь вы участница системы».

Просто где-то в глубине, в том слое, где ум переплетается с разумом, а разум с ложным эго, появилась крошечная запись. Бухгалтерская. Сухая. Безупречно точная.

*Действие: требование внимания. Реакция: внимание получено. Итог: должник.*

Так работает карма.

Не как мстительный бог на облаке. Не как судья с молотом. Не как великий вселенский деспот, который записывает твои провинности в толстую книгу, чтобы потом отчитать тебя при всех.

Карма — бухгалтер.

Хуже. Карма — *идеальный* бухгалтер.

Она не забывает. Не прощает. Не ошибается. Не принимает во внимание обстоятельства. Не спрашивала, хотел ли ты того, что сделал. Она просто фиксирует: действие — последствие. Действие — последствие. Действие — последствие.

И самое неприятное в этом бухгалтерском учёте то, что он не различает приятное и неприятное.

Карма записывает не только грехи. Она записывает *всё*. Каждое получение. Каждое удовлетворение. Каждое «да»,

сказанное твоим желанием. Потому что каждое «да» — это обязательство получить ещё. А получить ещё — значит снова действовать. А действовать — значит снова связываться.

Мадхура не знала этого.

Она знала только, что крик работает.

И она начала кричать чаще.

Пятью месяцами позже она будет называть это «характером».

«У неё сильный характер», — скажет мать соседкам.

«Упрямая», — скажет отец.

«Настойчивая», — скажет жрец, которому она однажды закричит прямо в лицо во время церемонии.

А Мадхура будет думать: «Я###. Я добиваюсь своего. Мир слушается».

И каждый раз, когда мир будет слушаться, невидимая нить вокруг её тонкого тела будет становиться чуть плотнее.

Это и есть рабство в его самом изысканном, самом незаметном виде: **когда тебе кажется, что всё вокруг исполняет твою волю.**

Раба, который лежит в темноте и голодает, хотя бы кто-то может пожалеть. Раба, которому дают всё, что он требует, не жалеет никто. Он сам уверен, что свободен. Он сам гордится собой. Он сам считает свои цепи украшениями.

Мадхура получила первый урок свободы воли в материальном мире.

Урок состоял в том, что свобода воли здесь не означает

свободу *от последствий*. Она означает свободу *принимать* последствия — и называть их счастьем.

Но был в этих первых месяцах и другой опыт.

Опыт, который Мадхура не могла ни понять, ни объяснить, ни встроить в свою растущую систему требований.

Её любили.

Это было самое странное и самое болезненное из всего, что с ней происходило.

Мать любила её. Не абстрактно, не «как положено», не потому что так принято. Мать любила её так, как любят в материальном мире: жадно, тревожно, собственнически, с постоянным страхом потерять.

Мать целовала её пальцы. Мать нюхала её макушку. Мать просыпалась ночью от любого звука и сначала несколько секунд не могла понять, где она и что случилось, а потом находила в темноте её лицо и прижималась губами ко лбу.

Мать плакала, когда она болела. Мать пела, когда она не спала. Мать отдавала ей последнюю порцию молока, если еды в доме было мало, и сама ходила голодная, и делала это так, будто иначе и быть не могло.

Мадхура всё это чувствовала.

И в этом была её первая, самая тонкая, ещё не оформившаяся в мысль трагедия.

**Её любили не по адресу.**

Мать любила руки. Те самые пухлые, непослушные руки, которые Мадхура ещё не умела контролировать. Мать люби-

ла лицо — круглое, красное, с поперечной складкой на лбу. Мать любила запах — этот особенный, молочный, тёплый запах маленького тела. Мать любила её смех, когда он впервые появился, и её крик, и её сон, и то, как она хватала пальцем за материнский мизинец и не отпускала.

Но мать не знала, *кого* она любит.

Она любила скафандр. Оболочку. Складку кожи. Временную форму, собранную из пяти элементов и обречённую распасться. Она любила то, что было вокруг Мадхуры, и совершенно не знало о самой Мадхуре.

Она не знала, что перед ней — вечная. Что эта душа была до того, как её прапрапрадеды впервые слепили глиняный кирпич. Что она видела свет, которого нет в этом мире. Что внутри этого красного, пухлого, беспомощного существа есть бесконечность — и эта бесконечность сейчас сидит здесь, прижатая пелёнками, и смотрит на мать с чем-то, очень похожим на отчаянную нежность.

Потому что Мадхура *видела*.

Не понимала — видела.

Видела, как женщина отдаёт ей всё, что у неё есть, и как этого всё равно недостаточно. Видела, как мать целует её руку, думая, что целует её, и как Мадхуре от этого становится тепло и больно одновременно.

Тепло — потому что любовь настоящая. Больно — потому что адрес неверный.

Это было первое знакомство с тем, что в материальном

мире называют привязанностью. Рага. Любовь, которая не знает, кого любит. Любовь, которая цепляется за форму, потому что не способна увидеть суть.

Она не была ложной. В этом-то и беда.

Если бы она была ложной, её можно было бы просто отбросить. Но она была настоящей — настоящей в своём источнике и слепой в своём направлении. Как река, которая течёт из всех сил, но в песок.

Вода настоящая. Силы настоящие. Результата нет.

Мадхура лежала на материнской руке и чувствовала: *ты любишь мой дом. А я живу внутри. И ты никогда не стучишься.*

Здесь нужно сказать одну вещь о служении.

В Голоке Вриндаване Мадхура служила.

Это было её природой. Не обязанностью, не работой, не способом заслужить расположение. Служение было её *вкусом* — расой, как называют это в писаниях. Тем, чем она была, так же, как острота — вкусом перца, а влажность — вкусом воды.

Она служила Кришне — и в этом служении была абсолютно, безупречно, невообразимо свободна.

Потому что служение любви не уменьшает тебя. Оно раскрывает. Нота, которая звучит для мелодии, не становится меньше оттого, что она — часть мелодии. Она становится *слышимой*.

Здесь всё было перевернуто.

Здесь её обслуживали.

Её кормили. Её мыли. Её поднимали. Её носили на руках. Её пеленали. Её укачивали. Её лицо целовали шесть раз за утро.

Она была самым обслуживаемым существом в доме. В городе. Во всей## ей части мира.

И она была рабыней.

Потому что обслуживание — это не служение. Обслуживание — это содержание. Это уход за машиной, чтобы она не сломалась. И вся эта материнская, бесконечная, настоящая любовь была направлена на то, чтобы *машина работала*: чтобы тело росло, ело, спало, не болело, не кричало.

А Мадхура — та, кто внутри, — оставалась без ухода.

Её никто не кормил. Её никто не грел. Её никто не поднимал на руки.

Её никто не знал.

Вот почему она плакала иногда без причины. Вот почему она просыпалась ночью и не могла успокоиться ни от молока, ни от качания, ни от новой пелёнки. Вот почему мать, сделавшая всё правильно, всё абсолютно правильно, смотрела на неё с беспомощным вопросом: «Но что тебе ещё? Что тебе *ещё*?»

Ей было нужно *Его*.

Не молока. Не тепла. Не внимания.

Его.

Того, чьё имя она забыла. Того, в ком она была частью, а

не точкой. Того, кому она служила — и была свободной.

Она не знала этого. Она не могла этого сформулировать. У неё не было слов. У неё вообще ещё не было языка в человеческом смысле.

Но тело знало.

Тело плакало.

Однажды — ей было около четырёх месяцев — она увидела свою руку.

До этого руки были просто частью общего дискомфорта: они мелькали, махали, иногда попадали в лицо, иногда задевали край пелёнки. Мадхура не рассматривала их. Точно так же, как не рассматривают собственный локоть.

Но в тот день солнце падало через щель в глиняной стене особым образом — узким, косым, пыльным лучом, — и падало ей на ладонь.

И она увидела её.

Впервые.

Как бы со стороны.

Пять коротких пальцев. Ладонь, испещрённая тонкими, ещё не стёртыми линиями. Ногти — прозрачные, крошечные, почти невидимые. Кожа, сквозь которую проступает что-то голубоватое.

Мадхура смотрела на эту вещь и думала:

*Что это?*

И потом, через мгновение:

*Это моё.*

Две мысли. Две ступени. Между ними — вся история падений.

Первая мысль была чистым восприятием. Душа смотрела на инструмент и не узнавала его. Это было даже немного смешно: вечная, всепроникающая, не имеющая формы джи-ва рассматривает пятипалую плоть с тем искренним любопытством, с каким рассматривают незнакомый предмет на незнакомом столе.

*Странная штука. Для чего она?*

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.